

Библиотека Классической Литературы

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Василий Теркин
Стихотворения
Поэмы

Москва  2022

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Т26

Серия «Библиотека всемирной литературы»
Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы:

Плакат «Красной Армии – Слава» (1946)
художника *Л. Ф. Голованова*

Фрагмент работы художника *Антоня Генберга*
«Норрландский зимний пейзаж с березами» (1933)

Фотопортрет Александра Твардовского:
Дмитрий Козлов / РИА Новости

Твардовский, Александр Трифонович.
Т26 Василий Теркин. Стихотворения. Поэмы / Александр
Твардовский. – Москва : Эксмо, 2022. – 640 с.

«Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!» – писал И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин» Александра Твардовского – выдающегося русского поэта с драматической судьбой. Поэма «Василий Теркин» стала одной из вершин творчества поэта, в которой во всей полноте ожила народная душа. В книгу также включены поэмы «Страна Муравия» («высокую культуру стиха» уже в этой поэме отмечали Б. Пастернак и Н. Асеев), «Дом у дороги», «За далью – даль», «Теркин на том свете», «По праву памяти» (опубликована только в 1987-м), в которой описана трагическая судьба отца Твардовского – раскулаченного и сосланного крестьянина-кузнеца; пейзажная лирика, военные стихотворения и стихотворения последних лет, автобиография писателя.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-091765-5

© Твардовский А.Т., наследники, 2022
© Турков А. М., предисловие, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Содержание

Андрей Турков
СТРОКА ГВАРДОВСКОГО

13

СТИХОТВОРЕНИЯ

РОДНАЯ КАРТИНА

31

ЯБЛОКИ

32

«СНЕГ СТАЕТ, ОТОЙДЕТ ЗЕМЛЯ...»

34

РАЗЛИВ ДНЕПРА

35

ЛЕС ОСЕНЬЮ

36

«РОЖЬ ОТВОЛНОВАЛАСЬ...»

37

УСАДЬБА

38

5

«ТРЕВОЖНО-ГРУСТНОЕ РЖАНИЕ КОНЯ...»

39

УТРО

40

СМОЛЕНЩИНА

41

ЛЕДОХОД

43

«ШУМИТ, ПРОБИРАЯСЬ КУСТАМИ...»

44

«СТОЛБЫ, СЕЛЕНЬЯ, ПЕРЕКРЕСТКИ...»

45

«ДОЖДЬ НАДВИГАЕТСЯ ВНЕЗАПНЫЙ...»

46

«НЕ СТАРЕЕТ ТВОЯ КРАСОТА...»

47

ДОРОГА

49

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

51

ИВУШКА

52

СЕЛЬСКОЕ УТРО

55

6

«ЗВЕЗДЫ, ЗВЕЗДЫ, КАК МНЕ БЫТЬ...»

56

ДРУЗЬЯМ

57

«РОЖЬ, РОЖЬ... ДОРОГА ПОЛЕВАЯ...»

60

БРАТЬЯ

61

ПЕСНЯ

63

КАК ДАНИЛА ПОМИРАЛ

65

МАТЕРИ

68

«НЕ ДЫМ ДОМАШНИЙ НАД ПОСЕЛКОМ...»

69

НОЯБРЬ

70

ДВЕ СТРОЧКИ

71

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

72

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

78

7

О ПРОПИСКЕ

82

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

84

«МНЕ ПАМЯТНО, КАК УМИРАЛ МОЙ ДЕД...»

85

«НИ НОЧИ НЕТУ МНЕ, НИ ДНЯ...»

87

«СНЕГА ПОТЕМНЕЮТ СИННИЕ...»

89

«ЧАС РАССВЕТНЫЙ ПОДЪЕМА...»

90

«НЕ МНОГО НАДОБНО ТРУДА...»

92

«ВСЯ СУТЬ В ОДНОМ-ЕДИНСТВЕННОМ ЗАВЕТЕ...»

94

КОСМОНАВТУ

95

«ВСЕ СРОКИ КРАТКИ В ЭТОМ МИРЕ...»

97

«А ТЫ САМИХ ПОСЛУШАЙ ХЛЕБОРОБОВ...»

98

ПАМЯТИ МАТЕРИ

«ПРОЩАЕМСЯ МЫ С МАТЕРЯМИ...»

100

8

«В КРАЮ, КУДА ИХ ВЫВЕЗЛИ ГУРТОМ...»

100

«КАК НЕ СПЕША САДОВНИКИ ОРУДУЮТ...»

101

«—ТЫ ОТКУДА ЭТУ ПЕСНЮ...»

102

«В САМЫЙ УГОЛ ШАЛАША...»

105

«ДЕНЬ ПРОШЕЛ, И В НЕПОЛНОМ ПОКОЕ...»

106

«ИЮЛЬ – МАКУШКА ЛЕТА...»

107

«ПРОСЫПАЮСЬ ПО-ЛЕТНЕМУ...»

108

«ЕСТЬ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ...»

109

«ЛИСТВА ОТПЫЛАЛА...»

110

«Я ЗНАЮ, НИКАКОЙ МОЕЙ ВИНЫ...»

111

«СТОЙ, ГОВОРЮ: ВСЕМУ ПОМЕХА...»

112

БЕРЕЗА

113

9

«ТАКОЮ ОТМЕЧЕН Я ДОЛЕЙ БЕДОВОЙ...»

115

«Я САМ ДОЗНАЮСЬ, ДОИЩУСЬ...»

116

«НА ДНЕ МОЕЙ ЖИЗНИ...»

117

«ДОПУСТИМ, ТЫ СВОЕ УЖЕ ОТТОПАЛ...»

118

«ВРЕМЯ, СКОРОЕ НА РАСПРАВУ...»

119

«К ОБИДАМ ГОРЬКИМ СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЫ...»

120

«В СЛУЧАЕ ГЛАВНОЙ УТОПИИ...»

121

«ВСЕМУ СВОЙ РЯД, И ЛАД, И СРОК...»

122

«НЕТ НИЧЕГО, ЧТО РАЗ И НАВСЕГДА...»

123

«ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ЖИТЬ С УМОМ?...»

124

«ТЫ ДУРА, СМЕРТЬ: ГРОЗИШЬСЯ ЛЮДЯМ...»

125

О СУЩЕМ

126

10

ПОЭМЫ

СТРАНА МУРАВИЯ

129

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

211

Дом у дороги

373

За далью – даль

425

ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ

541

По праву памяти

599

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

АВТОБИОГРАФИЯ

619

О РОДИНЕ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ

632

СТРОКА ТВАРДОВСКОГО

Последнее воспоминание о нем: сидит, страшно исхудавший, возле большого дачного окна...

Незадолго до этого, в феврале 1970 года, многолетнее грубое давление всевозможных «руководящих инстанций» — ЦК КПСС, Главлита (а попросту сказать — цензуры), секретариата Союза писателей — вынудило Александра Твардовского покинуть журнал «Новый мир», главным редактором которого он был больше десяти лет и который за это время приобрел огромную популярность в нашей стране и даже за ее пределами.

В прошлом веке, испытав потерю такого же своего любимого детища — журнала «Отечественные записки», закрытого правительством, Салтыков-Щедрин горестно писал, что отныне «лишился употребления языка». Но то, что для великого сатирика было метафорой, гиперболой, для Твардовского стало реальностью. Лишившись журнала, не сумев опубликовать свою последнюю поэму «По праву памяти», он смертельно заболел и почти потерял речь.

Его окружали родные, навещали друзья, и все же на долгие часы он оставался наедине со смотрящей в окно поздней осенью, безлиственными деревьями, пожухлой травой, покуда в стекло не застучались, не заскреблись первые метели. (И не звучали ли в памяти последней декабрьской ночью строки из трагической главы «Василия Теркина»: «Смерть склонилась к изголовью: — Ну, солдат, пойдем со мной»?)

Вся жизнь, наверное, проходила в те дни перед глазами Твардовского, и он мог сказать о себе словами своего любимого героя:

Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль...

«Василий Теркин»

...Ах, каким простым все казалось подростку, росшему на Смоленщине, как он напишет позже: «в захолустье, потрясенном всемирным чудом новых дней». Немало обязанный отцу, сельскому кузнецу, первыми задатками любви к книге, к чтению, он, став комсомольцем, теперь судил об «отсталых» взглядах Трифона Гордеевича со всей страстью и категоричностью юности.

Среди стихов «поэта-селькора», как именовали своего юного сотрудника смоленские газеты, были и такие, как «Отцу-богатею», а в одной из его первых поэм «отрицательным» персонажем был... кузнец Гордеич!

Много лет пройдет, прежде чем отцовская судьба предстанет перед Твардовским во всей сложности. Долгие годы он вынашивал замысел романа об отце, который, к сожалению, так и не удалось осуществить. Он и название придумал — «Пан». Так прозвали Трифона Гордеевича земляки за то, что тот всячески, весьма наивно и недальновидно подчеркивал свою особость, независимость, отличный от обычного деревенского склад жизни.

Но уже в поэме «За далью — даль» будут запечатлены и реальная картина «скудного выручкою» трудового дня мифического «богатея», и беглые портреты его бедных «клиентов». А в очерке «Заметки с Ангары», рассказывая о встречавшемся выходце со Смоленщины, Твардовский писал, что, глядя на него, «неволью вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки...». При всем лаконизме этого упоминания за ним ощутимо сильное душевное движение, всколыхнувшаяся память о человеке, с которым в юности шла такая непримиримая война.

На первых жизненных верстах отцовский образ сделался воплощением того обихода и уклада, от которых начинающий поэт стремился оттолкнуться, как отталкиваются от берега, отправляясь в плавание. Этот конфликт завершился уходом юноши из дома и началом самостоятельного существования как газетчика и литератора.

Готовы были мы к походу.
 Что проще может быть:
 Не лгать,
 Не трусить,
 Верным быть народу,
 Любить родную землю-мать,
 Чтоб за нее в огонь и в воду,
 А если —
 То и жизнь отдать.

Так вспоминал Твардовский в своей последней поэме давнее умонастроение — свое и друзей-ровесников. И, умудренный всем пережитым, прибавлял:

Что проще!
 В целости оставим
 Таким завет начальных дней.
 Лишь от себя теперь добавим:
 Что проще — да.
 Но что сложнее?

«Сложность» дала себя знать немедля. В пору начавшейся коллективизации в числе миллионов других несправедливо пострадала и «панская» семья, высланная на Север. Почти тридцать лет спустя, в 1957 году, набрасывая план пьесы о раскулачивании, Твардовский припомнил слова, сказанные ему в ту давнюю пору секретарем Смоленского обкома партии: «Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией». В тех же набросках запечатлена и дилемма, вставшая перед «младшим братом», в котором угадывается сам автор: «Он должен порвать с семьей, отказаться от нее, проклясть ее — тогда, может быть, он еще останется «на этом берегу», а нет — хочешь не хочешь — будешь «врагом», кулаком, которому никогда и ничем не отомолить себе прощенья у советской власти».

Происшедшее оставило в душе поэта тяжелейшую, незаживающую рану и в то же время положило начало долгому, мучительному, противоречивому отрезвлению от прежних наивных иллюзий. И уже совсем по-иному вспоминалась жизнь на отцовском хуторе в стихотворении «Братья», завершавшемся пронзительными строками:

Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

Заметно отличалась по тону от тогдашней литературы с ее упрощенным и приукрашенным изображением коллективизации и поэма Твардовского «Страна Муравия». В описании скитаний Никиты Моргунка, который «бросил... семью и дом», не желая вступить в колхоз (как поступил и отец поэта), в его тревожных раздумьях и многочисленных дорожных встречах слышны явственные отголоски трагических событий тех лет. Выразительна, например, услышанная Моргуном сказка про деда и бабу, которые «жили век в своей избе», покуда «небывало высокая» вешняя вода не «подняла... избушку» и, «как кораблик, понесла» совсем на новое место: «Тут и стой». Сам автор впоследствии ценил драматизм этой поэмы, достигавший особой силы в черновых вариантах:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Тем не менее герой поэмы в конце концов отказывался от поисков легендарной страны «единоличного» крестьянского счастья, где «никакой, ни боже мой, — коммунии, колхозии», и смирялся с необходимостью вступить в артель. Многие стихотворения, вошедшие в сборники «Дорога», «Сельская хроника» и «Загорье», красноречиво свидетельствуют о том, как старательно искал Твардовский светлые стороны тогдашней деревенской жизни, исходя из сознания, что так нужно. Нужно «иметь мужество видеть положительное», — с горечью напишет он впоследствии.

По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца...

Эти строки, задуманные как одическое восславление новой жизни, обернулись, однако, едкой и горькой оценкой происходившего тогда с самим поэтом. Еще недавно объяв-

лявшийся в смоленской печати «кулацким подголоском» и даже «классовым врагом», он после «Страны Муравии», которую критики сочли прославлением коллективизации, оказался в фаворе у власти: был принят в партию, награжден орденом Ленина в числе известных писателей и даже получил Сталинскую премию.

Счастье, что «зеркально блестящая дорога» не ослепила Твардовского. Он понимал, что в расхваленных критиками произведениях «едет мимо» многого, что есть в реальной жизни. В конце тридцатых годов в письме к родичу, тоже взявшемуся за перо, Александр Трифонович не столько поучал адресата, сколько размышлял о своем: «...нужно выработать в себе прямо-таки отвращение к «легкости», «занятности», ко всему тому, что упрощает и «закругляет» сложнейшие явления жизни... будь смелей, исходи не из соображения о том, что будто бы требуется, а из своего самовнутреннего убеждения, что это, о чем пишешь, так, а не иначе, что это ты твердо знаешь, что ты так хочешь». А ставшему близким другом С. Я. Маршаку признавался: «...давно хочу писать иначе, но все еще не могу...»

Впрочем, «иначе» писать он все же пробовал — и в «Братьях», и в элегической предвоенной «Поездке в Загорье», и в полном затаенной боли стихотворении «Матери» (Мария Митрофановна вместе с семьей еще находилась в ссылке):

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

Истинное же рождение Твардовского как великого русского поэта произошло в трагическую пору народной истории — в затяжную и кровавую зимнюю кампанию в Финляндии и Великую Отечественную войну. Он был фронтовым корреспондентом, испытал горечь страшных поражений и потерь, попадал в окружение, сталкивался с множеством людей — когда надолго, когда на краткий, но навсегда запомнившийся миг. Позже он сказал об этом в своей «Книге про бойца», ставшей поэмой «Василий Теркин»:

Вспомним с нами отступавших,
 Воевавших год иль час,
 Павших, без вести пропавших,
 С кем видались мы хоть раз,
 Провожавших, вновь встречавших,
 Нам попить воды подавших,
 Помолвившихся за нас.

Замечательна и парадоксальна судьба этой книги! Написанная в пору, когда для автора, как и для множества современников, Сталин был величайшим авторитетом, она понаравилась вождю. Свидетельство тому — и новая Сталинская премия, присужденная поэту, и то, что, по воспоминаниям Хрущева, «Сталин с умилением смотрел на картину с Василием Теркиным» (написанную художником Решетниковым). Он видел в герое книги бравого, исполнительного солдата, безотказный «винтик» (по известному выражению вождя) армейского и даже государственного механизма.

Но вот что знаменательно. Первые же главы «Василия Теркина» появились в печати в трагические месяцы 1942 года почти одновременно со знаменитым сталинским приказом № 227 и фактически дерзко противоречили ему. Сталин клеймил солдат отступавшей армии, якобы «покрывших свои знамена позором», обвинял их в «позорном поведении» и даже в «преступлениях перед Родиной». Твардовский же болел душой и за своего главного героя — рядового «в просоленной гимнастерке», и за всех других «наших стриженных ребят», принявших в войну величайшие муки:

Шел наш брат, худой, голодный,
 Потерявший связь и часть,
 Шел поротно и повзводно,
 И компанией свободной,
 И один, как перст, подчас.
 Шел он, серый, бородатый,
 И, цепляясь за порог,
 Заходил в любую хату,
 Словно чем-то виноватый
 Перед ней. А что он мог?

Еще только задумывая книгу, Твардовский размышлял: «Начало может быть полулубочным. А там этот парень пойдет все сложнее и сложнее». Так оно и оказалось. Ка-

кой там «винтик»! Какой там недалекий весельчак и балагур, каким его порой аттестовали в критике! В Теркине зажила, заиграла всеми красками сама народная душа — ее ширь и размах, лиризм и ум, лукавство и чуткость к чужому горю.

У Салтыкова-Щедрина, кстати, одного из любимейших писателей Твардовского, есть превосходные слова о том, как важно художнику, изображающему типы из «народной среды», разглядеть «нравственное изящество, которое они в себе заключают». Это нравственное изящество многообразно проявляется в Теркине. Оно и в органичности для него чувства патриотизма, в готовности к подвигу без фразы и позы («Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б. А нет — ну что ж...»). Оно и в той чуткости, которую проявляет он в истории с «осиротевшей» гармонью, и в готовности уступить свою славу однофамильцу, и в том, как рассказывает Теркин «про солдата-сироту», и в его разговоре-поединке со Смертью:

— Я не худший и не лучший,
 Что погибну на войне.
 Но в конце ее, послушай,
 Дашь ты на день отпуск мне?
 Дашь ты мне в тот день последний,
 В праздник славы мировой,
 Услышать салют победный,
 Что раздастся над Москвой?
 Дашь ты мне в тот день немножко
 Погулять среди живых?
 Дашь ты мне в одно окошко
 Постучать в края родных
 И, как выйдут на крылечко, —
 Смерть, а Смерть, еще мне там
 Дашь сказать одно словечко?
 Полсловечка?..

«Какая свобода, какая чудесная удаль, — писал, прочитав эту книгу, И. А. Бунин, — какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!»

Если уже в «Стране Муравии» такие взыскательные ценители, как Борис Пастернак и Николай Асеев, отмечали

высокую культуру стиха, то в «Василии Теркине» мастерство поэта достигло расцвета. Твардовский испытал, по собственному выражению, «чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».

Разнообразный по строфике, интонационно-гибкий стих поэмы замечательно соответствует ее содержанию, сохраняя живую естественность речи персонажей, их многоголосье, все богатство чувств и переживаний героя и самого автора:

Полдень раннего июня
 Был в лесу, и каждый лист,
 Полный, радостный и юный,
 Был горяч, но свеж и чист.
 Лист к листу, листом прикрытый,
 В сборе лиственном густом
 Пересчитанный, промытый
 Первым за лето дождем.
 И в глуши родной, ветвистой,
 И в тиши дневной, лесной
 Молодой, густой, смолистый,
 Золотой держался зной.
 И в спокойной чаще хвойной
 У земли мешался он
 С муравьиным духом винным
 И пьянил, склоняя в сон.

Каждая строка здесь перекликается с другими. В первой строфе одинаково звучат и начало строк (*полдень – полный*), и в известной мере середина (*раннего – радостный*). Во второй – тоже есть своя инструментовка. В заключение же возникает целый поток созвучий: *глуши – тиши, родной – дневной – лесной, молодой – густой – золотой, спокойной – хвойной, муравьиным – винным*.

В «Теркине» берут начало мотивы, предвещавшие следующую поэму Твардовского – о краткой побывке дома отступающего бойца, о солдате-сироте, нашедшем на месте родного села пепелище, о возвращающейся из полона «труженице-матери».

В начале поэмы «Дом у дороги» говорится, что эта тема, эта песня «жила, кипела, ныла» в душе автора всю войну – о судьбе крестьянской семьи, о великих людских му-

ках и многоликости народного подвига, будь то стойкость мужа-солдата или самоотверженность жены и матери, сбежавшей детей в пучине лишений и бед.

Мысленный разговор Анны Сивцовой на чужбине с крохотным сыном принадлежит к самым проникновенным страницам, когда-либо написанным Твардовским, и смело может быть причислен к шедеврам мировой поэзии.

Мы так и не узнаем, дождется ли своей хозяйки дом, возведенный Андреем Сивцовым на месте пожарища, наполнится ли он детскими голосами. Ведь конец у подобных историй был неодинаков! И эта томительная незавершенность судеб героев поэмы придавала ей особенный драматизм.

О том, что «счастье — не в забвенье» пережитой народом трагедии, говорит и лирика Твардовского военных и мирных лет — «Две строчки», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...». В стихотворении «Я убит подо Ржевом» строгая, напоминающая стиль похоронок военной поры обстоятельность рассказа о гибели солдата (в «пятой роте, на левом при жестоком налете») сменяется сильнейшим эмоциональным взрывом:

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе...

Повторяющаяся «запевка» («Я — где...»), внутренние созвучия (*корни — корма; заре — росе*), звукопись («ваШи маШины... Шоссе» — как бы шорох шин) — все это придает монологу убитого воина редкую выразительность, певучесть, и голос героя сливается с дыханием мира, где как бы рассеялся, растворился павший боец.

Напрасно власти старались приручить и заласкать Твардовского, ставшего после «Теркина» народным любимцем. Писать в прежнем духе о деревне, разоренной не только войной, но и новыми жестокими поборами, он больше не

мог. Продолжать «Книгу про бойца», как требовали многие наивные читатели, придумать ее герою беспечное житье-бытье тоже совесть не позволяла, тем более что получал автор и совсем другие «подсказки»:

Поэт Твардовский, извините,
Не забывайте и задворки,
Хоть мимолетно посмотрите,
Где умирает Вася Теркин,
Который воевал, учился,
Заводы строил, сеял рожь.
В тюрьме, бедняга, истомился,
Погиб в которой ни за грош...
Прошу мне верить, я Вам верю.
Прощайте! Больше нету слов.
Я теркиных нутром измерил,
Я Теркин, хоть пишу

Попов

Дожил ли автор этих трогательных и неумелых стихов до появления поэмы «Теркин на том свете», где Твардовский, по собственному выражению, хотел воплотить «суд народа над бюрократией и аппаратчиной»? Критика «того света», в котором без труда угадывалась вполне реальная партийно-государственная махина, временами достигала в этой книге, опубликованной лишь через десять лет после ее создания, чрезвычайной остроты. Так, узнав о загробном пайке («Обозначено в меню, а в натуре нету»), Теркин простодушно спрашивает: «Вроде, значит, трудодня?» Читатель же мог в свою очередь подумать и о других вещах, существовавших лишь на бумаге, например, о свободе слова, печати, собраний, «обозначенной» в тогдашней конституции.

В сущности, это уже был суд над сталинизмом, но он не сразу и нелегко давался Твардовскому, который еще недавно в одной из глав книги «За далью — даль» писал о смерти Сталина как о «большом нашем горе». И хотя позднее эта глава была автором кардинально переделана, следы известной непоследовательности, нерешительности в суждениях о пережитой эпохе ощутимы в этой книге, даже в таких сыгравших определенную роль в общественной жизни главах, как «Друг детства» (о встрече с безвинно осуж-

денным при Сталине человеком) и «Так это было», непосредственно посвященной размышлениям о вожде.

Замечательны, однако, многие лирические фрагменты книги — о Волге, о родной Смоленщине, об отцовской кузнице и острый «литературный разговор», возникавший не только в одноименной главе. Отдельные места поэмы по искренности и силе соперничают с самыми лучшими стихотворениями поэта:

Нет, жизнь меня не обделила,
 Добром своим не обошла.
 Всего с лихвой дано мне было
 В дорогу — света и тепла.
 И сказок в трепетную память,
 И песен матери родной,
 И старых праздников с попами,
 И новых с музыкой иной.
 ...Чтоб жил и был всегда с народом,
 Чтоб ведал все, что станет с ним,
 Не обошла тридцатым годом.
 И сорок первым.
 И иным...

Из главы «С самим собой»

Последний этап жизни Твардовского тесно связан с его деятельностью как главного редактора журнала «Новый мир». Ныне нет недостатка в обвинениях тогдашней литературы, не щадят и «Новый мир», который, дескать, был недостаточно смел и последователен в критике режима и не мог отрешиться от многих ошибочных представлений. Но тут вспоминаются слова Герцена об отношении молодого поколения к предшественникам, «выбивавшимся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врѣзавшуюся в песок барку нашу»: «Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них, как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их, как отсталых... Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки».

Еще в сталинские времена Твардовский-редактор опубликовал в «Новом мире» острокритический очерк В. Овечкина «Районные будни», а в пору оттепели — повесть

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Даже в «застойные» годы журнал продолжал печатать правдивые, говорившие о глубоком неблагополучии в нашей общественной жизни произведения Ф. Абрамова, В. Быкова, Б. Можяева, Ю. Трифонова, Ю. Домбровского и ряда других писателей. Недаром в зарубежной, а позже и в отечественной печати высказывалась справедливая мысль, что журнал превращался в неофициальную оппозицию существующему режиму. Думается, что в истории русской литературы и общественной мысли «Новый мир» Твардовского занимает не меньшее место, нежели «Современник» и «Отечественные записки».

Неотделима от этой деятельности Твардовского и его последняя поэма «По праву памяти», в которой он произвел окончательный расчет со сталинизмом, «добывая» его в собственной душе, покаянно пересматривая пережитое и восстанавливая историческую правду.

Опаляющим автобиографизмом дышит центральная глава поэмы — «Сын за отца не отвечает». Вынесенные в заглавие широко известные слова Сталина в пору их произнесения выглядели для многих, в том числе и для Твардовского, неожиданным счастьем, своеобразной амнистией (хотя не раз еще «кулацкое» происхождение ставилось «в строку» поэту — вплоть до самых последних лет жизни). Теперь же Твардовский беспощадно обнажает безнравственную суть этого лживого «афоризма» (лживого — ибо, как напоминает в поэме, «...звание *сын врага народа* еще при них вошло в права»): понуждение к разрыву естественных человеческих связей, оправдание отступничества от них, от всяких нравственных обязательств перед близкими. Горько и гневно пишет поэт о поощряемой «свыше» моральной вседозволенности:

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — пряником.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.

Всей своей поэмой, в особенности заключительной главой «О памяти», Твардовский восставал против попыток скрыть, обелить, приукрасить трагический опыт миновавших десятилетий — в «забвенье утопить живую боль»:

Но все, что было, не забыто,
 Не шито-крыто на миру.
 Одна неправда нам в убыток,
 И только правда ко двору!

Не его вина, что не был он услышан и что строки поэмы: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу», — оказались пророчеством.

Как ни горьки и ни тяжелы были обстоятельства последних месяцев жизни Твардовского (уход из «Нового мира», запрет на публикацию поэмы «По праву памяти», новая опала на «Теркина на том свете», исключавшегося из сборников поэта и не упоминавшегося в печати), он уходил из жизни с сознанием, что «честно... тянул свой воз».

Его поздняя лирика проникнута мыслью о долге художника быть верным правде, безбоязненно идти избранной дорогой — и «с тропы своей ни в чем не сступая, не отступая — быть самим собой».

Вся суть в одном-единственном завете:
 То, что скажу, до времени тая,
 Я это знаю лучше всех на свете —
 Живых и мертвых, — знаю только я.
 Сказать то слово никому другому
 Я никогда бы ни за что не мог
 Передоверить.
За свое в ответе,
 Я об одном при жизни хлопочу:
 О том, что знаю лучше всех на свете,
 Сказать хочу. И так, как я хочу.

Есть в этой лирике Твардовского победительная и, как доказало будущее время, вполне оправдавшаяся уверенность, что «все минется, а правда останется», уверенность, высказанная им однажды с почти мудрым лукавством, что «время, скорое на расправу... не в силах сладить с чем, подумаешь! — со стихком»:

Уж оно его так и этак
Норовит забвенью предать
И о том объявить в газетах
И по радио...

Глядь-поглядь,
За каким-то минучим сроком —
И у времени с языка
Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка —
Строка.

«Одним Теркиным я не выговорюсь», — писал Твардовский в годы войны. Однако не «выговорился» он, по собственному ощущению, даже всей своей поэзией. «За этими ямбами и хорееми, — сказано в статье «Как был написан «Василий Теркин» (1951), — оставалась где-то втуне, существовала только для меня — и своеобразная живая манера речи кузнеца Пулькина (из одноименного стихотворения. — А. Турков) или летчика Трусова, и шутки, и повадки, и ухватки других героев в натуре».

Александр Трифонович не раз шутливо уверял, что он, в сущности, прозаик, и с ранних лет пробовал себя в очерках.

И вот так же, как было с «Теркиным», стремление передать то, что «оставалось втуне», показать все «варево» жизни, породило и в его прозе «книгу без начала, без конца», без особого сюжета, впрочем, правде не во вред — «Родина и чужбина».

Она состоит не только из вполне окончанных очерков и рассказов, но и из часто небольших, но весьма примечательных записей «тоже, как сказано в «Книге про бойца», «заносил в свою тетрадку строки, жившие вразброс»!

Мало того, что здесь порой возникали «зерна» сюжетных линий: «Теркина» и «Дома у дороги» (сравните, к примеру, историю новой худолеевской избы в очерке «В родных местах» с главой о возвращении Андрея Синцова домой). Проза поэта драгоценна сама по себе.

Почти в каждой из самых немногословных записей проявились свойственные автору глубина и обостренность вос-

приятия жизни в любых ее проявлениях. Порой какое-нибудь лицо выхвачено, высвечено буквально на миг, и такое лицо, что уже не забудешь.

В бою за деревню на родной поэту Смоленщине «с десятков наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены... бабы и дети в голос режут, прощаясь с жизнью». И вот «молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка: — Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку...»

У партизанки по прозвищу Костя «на счету» шесть взорванных вражеских эшелонов, а в награду за подвиги... поцелуй неизвестного командиршей, усталой и сонной (сладоотномящее девушку воспоминание...).

Освобожденные из немецкой неволи и возвращающиеся домой люди, по горестным словам автора, бредут к обгорелый трубам, к пепелищам, к незажитому горю, которого многие из них еще целиком и не представляют себе, какое оно там ждет их». И как это снова близко и к главе «Про солдата-сироту, и к «Дому у дороги»!

Но даже переживший войну в родном селе старик «сидел возле избушки, срубленной из бревен, на которых еще видна была окопная глина (какого же труда стоило ему это «строительство»?!). И при всей поразительной безунывности в чудаковатой обаятельности этого «мирового деда» (как окрестил его проезжий шофер), до «чего же он обездолен, на что ни глянь: «На нем были солдатский ватник и штаны из маскировочной материи с зелено-желтыми разводами. Он сосал трубку, чашечка которой представляла собой срез патрона от крупнокалиберного пулемета».

Бесконечно жаль, что Александру Трифоновичу не суждено было осуществить свои новые «прозаические» замыслы. А ведь кроме «Пана» были и другие чрезвычайно интересные в рабочей тетради; «...Совершу кругосветное путешествие по воде, — говорится в рабочей тетради 1966 года, — и запишу всё по-манновски со всякими отвлечениями» и т. п.

АНДРЕЙ ТУРКОВ

То есть в духе любимого немецкого писателя Томаса Манна, многочисленные выписки из чьих книг и чье имя неоднократно встречается в этих тетрадах.

«В нее смотрелось пол-России...» — сказал однажды Твардовский о Волге, чьи волны как бы несут «краев не-счетных отражень».

И не справедливы ли эти слова по отношению к его собственному творчеству, запечатлевшему столько лиц, событий и судеб?

Андрей Турков

СТИХОТВОРЕНИЯ

РОДНАЯ КАРТИНА

Куда ни глянь — открытые для взора,
Бегут поля в полосках межевых...
Серебряными блюдами — озера
Расставлены в прогалинах сырых...
Ничуть не подрастающий сосонник
Засыпал редко луговую даль...
Здесь, словно резвые и молодые кони,
Промчались детские мои года...
У кладбища, сгущаясь синим бором,
Сосонник говорлив и жутко тих...
Болота...
И болотные озера
Серебряными блюдами на них.

<1927>

ЯБЛОКИ

Спать и слышать яблока паденье
Сторожу садовому наказ.
Сторожу за ревность платят деньги,
Говоря об этом всякий раз.

Сторожа, укрывшись в шалашах,
Ожидают воровской души.

По малейшему ночному звуку,
Захватив тотчас берданку в руку,
В темноту бегут по одному,
Наклонясь от сучьев, как в дыму.

Днем они осматривают сад.
Может, яблоки считают: все ли?
Может, смотрят — так ли все висят,
Как вчера на веточках висели.

Сад смотреть — заняться больше нечем,
Кроме разговоров и махорки.
Вот и смотрят, пробуют подпорки,
Словно в церкви поправляют свечи.

Да, по осени бывает случай —
Груза не выдерживают сучья.
И тогда, понятно, сторожа
За увечье дерева дрожат.

Строго отвечают перед каждым
Из артельщиков — своих же граждан.
Настрого блюдутся сторожами
Яблок дорогие урожаи.

...Каждый год — который год подряд —
Открывается на праздник сад.
Со знаменами, с толпой нарядной,
С духовою музыкой парадной.

Председатель говорит, а рядом
Появляется второй оратор.
Это — представитель городской,
Машет он уверенно рукой.

И рукою этою берет
Только что упавший плод.

Яблоко ворочает рука.
И внимателен оратор так,
Словно хочет видеть червяка,
Что бывает в яблоке червяк.

За оратором в одном порядке
Все берут какой угодно сорт:
Хочешь сладких, хочешь кисло-сладких,
Можешь бабушкино и апорт.

Кое-кто вздыхает огорченно,
Думая о яблоках печеных...
Все едят на месте, но любой
При желанье может взять с собой.

...Хочется представить напоследки,
Что, возможно, в этот час в саду
На виду,
Облегченные, приподнимались ветки.

* * *

Снег тает, отойдет земля,
Прокатится громок густой.
Дождь теплый хлынет на поля
И смоем клочья пены снеговой.
Запахнет тополем волнующе.
Вздыхаешь, говоришь:
— Весна... —
Но ждешь, но думаешь,
Что пережил не всю еще
Весну, какая быть должна.

1932

РАЗЛИВ ДНЕПРА

Широко разлился Днепр.
Ни конца, ни края нет.
Затопил берега,
Заливные луга.
Затопил Приднепровье,
Низкорослые кусты.
И пошли, пошли с верховья
На Смоленск — плоты.

1933

ЛЕС ОСЕНЬЮ

Меж редяющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.

Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.

Стала ель в лесу заметней —
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шляпу набекрень.

1933

* * *

Рожь отволновалась.
Дым прошел.
Налило зерно до половины.
Колос мягок, но уже тяжел,
И уже в нем запах есть овинный...

1933

УСАДЬБА

Над белым лесом — край зари багровой.
Восходит дым все гуще и синей.
И сразу оглушает скрип здоровый
Дверей, шагов, колодцев и саней.

На водопой проходят кони цугом.
Морозный пар клубится над водой,
И воробьи, взлетая полукругом,
Отряхивают иней с проводов.

И словно на строительной площадке —
На доски, на леса — легла зима.
И в не заполненном еще порядке
Стоят большие новые дома.

Они выглядывают незнакомо
На улице огромного села,
Где только дом попа и назывался домом,
А церковь главным зданием была;

Где шли к воде поодиночке клячи
И, постояв, отказывались пить;
Где журавель и тот скрипел иначе,
Совсем не так, как он теперь скрипит...

Надолго лег венцами лес сосновый.
И лес хорош,
И каждый дом хорош.
...Стоишь, приехав, на усадьбе новой
И, как Москву,
Ее не узнаешь.

1934

* * *

Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома...
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.

Но пахнет, как в детстве, — вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребями,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней...

1934

УТРО

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день — полней и лучше,
Да будет лучше новый год.

И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час, —
При нас с тобою много будет
И много-много — после нас...

1935

СМОЛЕНЩИНА

Жизнью ни голодною, ни сытой,
Как другие многие края,
Чем еще была ты знаменита,
Старая Смоленщина моя?

Бросовыми землями пустыми,
Непроезжей каторгой дорог,
Хуторской столыпинской пустыней,
Межами и вдоль и поперек...

Помню, в детстве, некий дядя Тихон, —
Хмурый, враспояску, босиком, —
Говорил с безжалостностью тихой:
— Запустить бы все... под лес... кругом...

Да, земля была, как говорят.
Что посеешь, — не вернешь назад...

И лежали мхи непроходимые,
Золотые залежи тая,
Черт тебя возьми, моя родимая,
Старая Смоленщина моя!..

Край мой деревянный, шитый лыком,
Ты дивишься на свои дела.
Слава революции великой
Стороной тебя не обошла.

Деревушки бывшие и села,
Хуторские бывшие края
Славны жизнью сытой и веселой, —
Новая Смоленщина моя.

Хлеб прекрасный на земле рождается,
На поля твои издалека —
С юга к северу идет пшеница,
Приучает к булке мужика.

Расстоянья сделались короче,
Стали ближе дальние места.
Грузовик из Рибшева грохочет
По настилу нового моста.

Еду незабытыми местами,
Новые поселки вижу я.
Знаешь ли сама, какой ты стала,
Родина смоленская моя?

Глубоко вдыхаю запах дыма я.
Сколько лет прошло? Немного лет...

Здравствуй, сторона моя родимая!..
Дядя Тихон, жив ты или нет?!

1935

ЛЕДОХОД

Лед идет, большой, громоздкий,
Ночью движется и днем.
Все заметнее полоска
Между берегом и льдом.

Утром ранним, утром дымным
Разглядел я вдалеке,
Как куски дороги зимней
Уплывали по реке.

Поперек реки широкой
Был проложен путь прямой.
Той дорогой, той дорогой
Я ходил к тебе зимой...

Выйду, выйду напоследки,
Ой, как воды высоки,
Лед идет цепочкой редкой
Серединою реки.

Высоки и вольны воды.
Вот пройдет еще два дня —
С первым, с первым пароходом
Ты уедешь от меня.

1936

* * *

Шумит, пробираясь кустами,
Усталое, сытое стадо.
Пастух повстречался нестарый
С насмешливо-ласковым взглядом.

Табак предлагает отменный,
Радужною радует речью.
Спасибо, товарищ почтенный,
За добрую встречу.

Парнишка идет босоногий,
Он вежлив, серьезен и важен.
Приметы верхней дорожки
С готовностью тотчас укажет.

И следует дальше, влекомый
Своею особой задачей.
Спасибо, дружок незнакомый,
Желаю удачи!

Девчонка стоит у колодца,
Она обернется, я знаю,
И через плечо улыбнется,
Гребенку слегка поправляя.

Другая мне девушка снится,
Но я не боюсь порицанья:
Спасибо и вам, озорница,
За ваше вниманье.

1936

* * *

Столбы, селенья, перекрестки.
Хлеба, ольховые кусты,
Посадки нынешней березки,
Крутые новые мосты.

Поля бегут широким кругом,
Поют протяжно провода,
А ветер прет в стекло с натугой,
Густой и сильный, как вода.

1936

* * *

Дождь надвигается внезапный,
Ты выбегаешь на дорожку,
Чтоб воротиться с первой каплей,
Зажатой в смуглую ладошку.

В игре, в забавах хлопотливых,
Моя веселая, родная,
Растешь ты шумно и счастливо,
О том не думая, не зная.

Ты по траве гоняешь мячик,
На плечи мне влезает ловко.
И пахнет солнышком горячим
Светловолосая головка.

О детстве горьком, захоластном
Я вспоминаю потихоньку
И чуть завистливо, чуть грустно
Смотрю на милую девчонку.

Целую русую без счета,
Запорошенную песочком.
И все хочу тебе я что-то
Сказать, но не умею, дочка.

<1936>

* * *

Не стареет твоя красота,
Разгорается только сильней.
Пролетают неслышно над ней,
Словно легкие птицы, лета.

Не стареет твоя красота.
А росла ты на жесткой земле,
У людей, не в родимой семье,
На хлебах, на тычках, сирота.

Не стареет твоя красота,
И глаза не померкли от слез.
И копна темно-русых волос
У тебя тяжела и густа.

Все ты горькие муки прошла,
Все ты вынесла беды свои.
И живешь и поешь, весела
От большой, от хорошей любви.

На своих ты посмотришь ребят,
Радость матери нежной проста:
Все в тебя, все красавцы стоят,
Как один, как орехи с куста.

Честь великая рядом с тобой
В поле девушке стать молодой.
Всюду славят тебя неспроста, —
Не стареет твоя красота.

Ты идешь по земле молодой —
Зеленеет трава за тобой.

По полям, по дорогам идешь —
Расступается, кланяясь, рожь.

Молодая береза в лесу
Поднялась и ровна и бела.
На твою она глядя красу,
Горделиво и вольно росла.

Не стареет твоя красота.
Слышно ль, женщины в поле поют, —
Голос памятный все узнают —
Без него будто песня не та.

Окна все пооткроют дома,
Стихнет листьев шумливая дрожь.
Ты поешь! Потому так поешь,
Что ты песня сама.

1937

ДОРОГА

Вдоль дороги, широкой и гладкой,
Протянувшейся вдаль без конца,
Молодые, весенней посадки,
Шелестят на ветру деревца.

А дорога, сверкая, струится
Меж столбов, прорываясь вперед,
От великой советской столицы
И до самой границы ведет.

Тени косо бегут за столбами,
И столбы пропадают вдали.
Еду вровень с густыми хлебами
Серединой родимой земли.

Ветер, пой, ветер, вой на просторе!
Я дорогою сказочной мчусь.
Всю от моря тебя и до моря
Вижу я, узнаю тебя, Русь!

Русь! Леса твои, степи и воды
На моем развернулись пути.
Города, рудники и заводы
И селенья — рукой обвести.

Замелькал перелесок знакомый,
Где-то здесь, где-то здесь в стороне
Я бы крышу родимого дома
Увидал. Или кажется мне?

Где-то близко у этой дороги, —
Только не было вовсе дорог, —

Я таскался за стадом убогим,
Босоногий, худой паренек.

Детство бедное. Хутор далекий.
Ястреб медленно в небе кружит.
Где-то здесь, на горе невысокой,
Дед Гордей под сосенкой лежит...

Рвется ветер, стекло прогибая,
Чуть столбы поспевают за мной.
Паровоз через мост пробегает
Высоко над моей головой.

По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца.
Сквозь тоннель пролетаю гудящий,
Освещенный, как зала дворца.

И пройдут еще годы и годы,
Будет так же он ровно гудеть.
Мой потомок на эти же своды
С уважением будет глядеть.

И дорога, что смело и прямо
Пролегла в героический срок,
Так и будет одною из самых
На земле величайших дорог.

Все, что мы возведем, что проложим, —
Все столетиям славу несет...
Дед, совсем ты немного не дожил,
Чтоб века пережить наперед.

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

У дороги дуб зеленый
Зашумел листвою каляной.
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный.

Из-за моря поспешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась точно в гору.

Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.

Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.

Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

1937

ИВУШКА

Умер Ивушка-печник,
Крепкий был еще старик...
Вечно трубочкой дымил он,
Говорун и весельчак.
Пить и есть не так любил он,
Как любил курить табак.
И махоркою добротной
Угощал меня охотно.
— На-ко, — просит, — удружи,
Закури, не откажи.
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.
И при каждом угощенье
Мог любому подарить
Столько ласки и почтения,
Что нельзя не закурить.
Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.
Правда ль, нет — слова такие
Перед смертью говорил:
Мол, прощайте, дорогие,
Дескать, хватит, покурил...
Будто тем одним и славен,
Будто, прожив столько лет,

По себе печник оставил
Только трубку да кiset.

Нет, недаром прожил Ива
И не все курил табак,
Только скромно, не хвастливо
Жил печник и помер так.

Золотые были руки,
Мастер честью дорожил.
Сколько есть печей в округе —
Это Ивушка сложил.

И, с ухваткою привычной
Затопив на пробу печь,
Он к хозяевам обычно
Обращал такую речь:

— Ну, топите, хлеб пеките,
Дружно, весело живите.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

На полях трудитесь честно,
За столом садитесь тесно.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

Жизнью полной, доброй славой
Славьтесь вы на всю державу.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

И на каждой печке новой,
Ровно выложив чело,
Выводил старик бедовый
Год, и месяц, и число.

И никто не ждал, не думал...
Взял старик да вдруг и умер,

Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.

Умер скромно, торопливо,
Так и кажется теперь,
Что, как был, остался Ива,
Только вышел он за дверь.

Люди Иву поминают,
Люди часто повторяют:
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.

А морозными утрами
Над веселыми дворами
Дым за дымом тянет ввысь.
Снег блестит все злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идет, как надо, жизнь.

1938

СЕЛЬСКОЕ УТРО

Звон из кузницы несется,
Звон по улице идет.
Отдается у колодца,
У заборов, у ворот.
Дружный, утренний, здоровый
Звон по улице идет.
Звонко стукнула подкова,
Под подковой хрустнул лед;
Подо льдом ручей забулькал,
Зазвенело все кругом;
Тонко дзинькнула сосулька,
Разбиваясь под окном;
Молоко звонит в посуду,
Бьет рогами в стену скот, —
Звон несется отовсюду —
Наковальня тон дает.

1938

* * *

Звезды, звезды, как мне быть,
Звезды, что мне делать,
Чтобы так ее любить,
Как она велела?

Вот прошло уже три дня,
Как она сказала:
— Полюбите так меня,
Чтоб вам трудно стало.

Чтобы не было для вас
Все на свете просто,
Чтоб хотелось вам подчас
Прыгнуть в воду с моста.

Чтоб ни дыма, ни огня
Вам не страшно было.
Полюбите так меня,
Чтоб я вас любила.

1938

ДРУЗЬЯМ

Друзья, с кем я коров стерег,
Костры палил, картошку пек,
С кем я сорочки гнезда рыл,
Тайком ольховый лист курил, —
Друзья, когда кому-нибудь
Еще случится заглянуть
В Загорье наше, — это я
Все наши обошел края,
По старым стежкам я бродил,
За всех вас гостем я здесь был.

Пойду в поля — хлеба стеной,
Во ржи не виден верховой.
Гречихи, льны, овсы — по грудь,
Трава — косы не протянуть.

Земля в цвету — и все по ней:
В домах — светлей, народ — добрей.
А нынче, в самый сенокос,
На гармониста всюду спрос.

Как вечер — танцы при луне,
Как вечер, братцы, грустно мне —
В своих местах, в родных кустах
Без вас, друзей, гулять в гостях.

Я даже думал в эти дни:
А вдруг как съедутся они

Со всех концов, краев, столиц,
С военных кораблей, с границ.
И сядем мы за стол в кружок
И за вином пошлем в ларек.
И выпьем мы, как долг велит,
Без лишних споров и обид,
Друг перед дружкой гордясь,
На ордена свои косясь.

Но вы, друзья, кто там, кто там,
У дела, по своим постам.
Вы в одиночку, как и я,
В родные ездите края.
Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.
И быть на месте в должный час
Покамест некому за нас...

Друзья, в отцовской стороне,
Не знаю что: не спится мне.
Так зори летние близки,
Так вкрадчиво поют сверчки,
Так пахнут липы от росы.
И в сене тикают часы,
А щели залиты луной,
А за бревенчатой стеной,
Во сне, как много лет назад,
Считает листья старый сад.
Глухой, на ощупь, робкий счет —
Все тот, а все-таки не тот...

И всяк из вас, кто вслед за мной
Свой угол посетит родной,
Такую ж, может быть, точь-в-точь
Здесь проведет однажды ночь.
Наверно, так же будет он
Взволнован за день, возбужден,

СТИХОТВОРЕНИЯ

Лежать, курить, как я сейчас,
О детстве думая, о нас,
О давних днях, о старине,
О наших детях, о войне,
О множестве людских путей,
О славе родины своей.

1939

* * *

Рожь, рожь... Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода.
Рожь, рожь — до свода голубого,
Чуть видишь где-нибудь вдали,
Ныряет шапка верхового,
Грузовичок плывет в пыли.
Рожь уходилась. Близки сроки,
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула — хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой,
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.

1939

БРАТЬЯ

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад.
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны? —
И сидели мы, выпятив груди, —
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?

1933

ПЕСНЯ

Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.

Под иголкой на пластинке
Вырастает песня вдруг,
Как ходили на зажинки
Девки, бабы через луг.

Вот и вздрогнула ты, гостья,
Вижу, песню узнаешь...
Над межей висят колосья,
Тихо в поле ходит рожь.

В знойном поле сиротливо
День ты кланяешься, мать.
Нужно всю по горстке ниву
По былинке перебрать.

Бабья песня. Бабье дело.
Тяжелеет серп в руке.
И ребенка плач несмелый
Еле слышен вдалеке.

Ты присела, молодая,
Под горячею копной.
Ты забылась, напевая
Эту песню надо мной.

В поле глухо, сонно, жарко.
Рожь стоит, — не перестой.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

...Что ж ты плачешь? Песни ль жалко
Или горькой жизни той?

Или выросшего сына,
Что нельзя к груди прижать?..
На столе поет машина,
И молчит старуха мать.

1936

КАК ДАНИЛА ПОМИРАЛ

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил, —
Время помирать.

Вволю хлеба, вволю сала,
Сыт, обут, одет.
Если б совесть позволяла,
Жил бы двести лет.

Но невесело Даниле,
Жизнь сошла на край:
Не дают работать деду,
Говорят: — Гуляй.

А гулять беспеременно —
Разве это жизнь?
Говорили б откровенно:
Помирать ложись.

Потихоньку дед Данила
Натаскал досок.
Достает пилу, рубанок,
Гвозди, молоток.

Тешет, пилит — любо-мило,
Доски те, что звон!
Все, что делал дед Данила, —
Делал крепко он.

Сколотил он гроб надежный,
Щитный, что ладья.

Отправляется Данила
В дальние края.

И в своем гробу сосновом
Навзничь дед лежит.
В пиджаке, рубахе новой,
Саваном прикрыт.

Что в селе народу было —
Все пришли сполна.
— Вот и помер дед Данила.
— Вот тебе и на...

Рассуждают: — Потрудился
На своем веку. —
И весьма приятно слышать
Это старику.

— Ох и ветох был, однако, —
Кто-то говорит.
«Ох, и брешь ты, собака», —
Думает старик.

— Сыновей зато оставил —
Хлопцам равных нет.
«Вот что правда, то и правда», —
Чуть не молвил дед.

Постоял народ пристойно
И решает так:
— Выпить надо. Был покойник
Выпить не дурак.

И такое заключение
Дед услышать рад:
Не в упрек, не в осужденье
Люди говорят.

Говорят: — Прощай, Данила,
Не посетуй, брат,
Дело ждет, по бревнам наши
Топоры торчат.

Говорят: — У нас ребята
Плотники — орлы.
Ты их сам учил когда-то
Вырубать углы.

Как зачешут топорами
Вперебой и в лад,
Басовито, громовито
Бревна загудят.

Эх, Данила, эх, Данила,
Был ты молодым!
С молодым бы в пору было
Потягаться им.

Не обижен был ты силой,
Мы признать должны..
— Ах вы, — крикнул дед Данила, —
Сукины сыны!

Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! — кричит Данила. —
Где он, мой топор?!

1937

МАТЕРИ

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

* * *

Не дым домашний над поселком,
Не скрип веселого крыльца,
Не запах утренний сенца
На молодом морозце колком, —

А дым костра, землянки тьма,
А день, ползущий в лес по лыжням,
Звон пули в воздухе недвижимом,
Остекленевшем — вот зима...

1940

Н О Я Б Р Ь

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

1943

ДВЕ СТРОЧКИ

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незначительной,
Забывтый, маленький, лежу.

1943

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрывки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад

Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,

То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,

Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...

СТИХОТВОРЕНИЯ

Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братя, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945–1946

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока.
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделились навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,

Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.

Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;

И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самую Москвой,
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимую сорок первого; и с теми,

Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанным не чуждою рукою.

Со всеми — пусть не равен их удел, —
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел:
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, —
Со всеми, до единого со всеми

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

И не затем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не затем, нет, не затем одним,
Что ветры войн шумят, не утихая,

И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, —

Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?

И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов, у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека?

Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.

К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы — мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.

В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.

Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу,
Как у живых, — я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,

Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.

Суда живых не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

1948

О ПРОПИСКЕ

По всему Советскому Союзу,
Только б та задача по плечу,
Я мою уживчивую Музу
Прописать на жительство хочу.

Чтобы мне не ведать той печали,
Как ответят у иных ворот:
— Нет, не проживает. Не слышали.
Номер дома, может быть, не тот.

Чтоб везде по селам и столицам
Отвечали на вопрос о ней:
— Как же, есть. Давнишняя жилища, —
И улыбки были б у людей.

Чтоб глаза у стариков яснили,
Чтобы к слову вставил не один:
— Мы еще на фронте были с нею,
Вместе помним Вязьму и Берлин.

Чтоб детишки из любого дома,
Если к ним случайно обращаюсь,
Говорили б:
— Как же, мы знакомы
И немножко знаем наизусть.

Чтобы не с почтеньем, а с любовью
Отзывалось каждое жильё:
— Здесь она. На доброе здоровье
Здесь живет. А как же без нее?

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вот тогда, как отзыв тот желанный,
Прозвучит о ней, моей родной,
Я и сам пропиской постоянной
Обеспечен буду под луной.

1951

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Что-то я начал болеть о порядке
В пыльном, лежалом хозяйстве стола:
Лишнее рву, а иное в тетрадки
Переношу, подшиваю в «дела».

Что ж, или все уж подходит к итогу
И затруднять я друзей не хочу?
Или опять я собрался в дорогу,
Выбрал маршрут, но покамест молчу?

Или гадаю, вступив на развилку:
Где меня ждет озаренье и свет
Радости той, что, быть может, я в силах
Вам принести, а быть может, и нет?..

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.
Только за мной остается решенье,
Что не принять за меня никому.

Я его принял с волнением безвестным
И на себя, что ни будет, беру.
Дайте расчистить рабочее место
С толком, с любовью — и сразу к перу.

Но за работой, упорной, бессрочной,
Я моей главной нужды не таю:
Будьте со мною, хотя бы заочно,
Верьте со мною в удачу мою.

1951

* * *

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво.

Мы с ним дружили. Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с полочки.

И вот он умер, и в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то.
И нет его, а мы себе живем, —
То первая была моя утрата...

И словно вдруг за некоей чертой
Осталось детства моего начало.
Я видел смерть, и доля смерти той
Мне на душу мою ребячью пала.

И с той поры в глухую глубь земли,
Как будто путь туда открыт был дедом,
Поодиночке от меня ушли
Уже другие проторенным следом...

В январский холод, в летнюю жару,
В туман и дождь, с оркестром,
без оркестра —

Одних моих собратьев по перу
Я столько проводил уже до места.

И всякий раз, как я кого терял,
Мне годы ближе к сердцу подступали,
И я какой-то частью умирал,
С любимым из них как будто числясь в паре.

И если б так же было на войне,
Где счет потерям более суровый,
Наверно б, жизни не хватило мне
И всем, что ныне живы и здоровы.

Но речь о том, что неизбежный час,
Как мне расстаться — малой части —
с целым,
Как этот мир мне потерять из глаз, —
Не может быть моим лишь частным делом.

Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участие призовет —
И я один со смертью не останусь.

1951

* * *

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.

У стольких душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято!

За то добро, за то тепло,
Участье и пристрастье,
Что в душу мне от них вошло,
Дало изведать счастье.

Сдается часом: заплачу,
Покрою все до строчки;
А часом: нет, не по плечу,
И вновь прошу отсрочки.

И вновь становятся в черед
Сомненье, сил упадок.
Беда! А выйду на народ:
— Ну как? — Бодрюсь: — Порядок...

И устаю от той игры,
От горького секрета,
Как будто еду до поры
В вагоне без билета.

Как будто я какой злодей,
Под страхом постоянным,

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Как будто лучших из друзей
К себе привлек обманом.

От мысли той невоготу
И тяжелей усталость.
Вот подведут они черту,
И — вдруг — один останусь.

И буду, сам себе ровня,
Один, в тоске глубокой.

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока.

За что же мне такой удел,
Вся жизнь — из суток в сутки?..

...А что ж ты, собственно, хотел?
Ты думал: счастье — шутки?

1955

* * *

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок.

Недвижной гладью прикинутся,
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

И, сонная, талая,
Земля обянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава.

И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.

И сердце почует заново,
Что свежесть поры любой
Не только была да канула,
А есть и будет с тобой.

1955

* * *

Час рассветный подъема,
Час мой ранний люблю.
Ни в дороге, ни дома
Никогда не просплю.

Для меня в этом часе
Суток лучшая часть:
Непечатый в запасе
День, а жизнь началась.

Все под силу задачи,
Всех яснее одна.
Я хитер, я богаче
Тех, что спят допоздна.

Но грустнее начало
Дня уже самого.
Мне все кажется, мало
Остается его.

Он поспешно убудет,
Вот и на бок пора.
Это молодость любит
Подлинней вечера.

А потом, хоть из пушки
Громыхай под окном.
Со слюной на подушке
Спать готова и днем.

Что, мол, счастье дневное —
Не уйдет, подождет.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Наше дело иное,
Наш скупее расчет.

И другой распорядок
Тех же суток у нас.
Так он дорог, так сладок,
Ранней бодрости час.

1955

* * *

Не много надобно труда,
Уменья и отваги,
Чтоб строчки в рифму, хоть куда,
Составить на бумаге.

То в виде елочки густой,
Хотя и однобокой,
То в виде лесенки крутой,
Хотя и невысокой.

Но бьешься, бьешься так и сяк —
Им не сойти с бумаги.
Как говорит старик Маршак:
— Голубчик, мало тяги...

Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка.

Пеняешь ты на неуспех,
На козни в этом мире:
— Чем не стихи? Не хуже тех
Стихов, что в «Новом мире».

Но совесть, та исподтишка
Тебе подскажет вскоре:
Не хуже — честь невелика,
Не лучше — вот что горе.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но Бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.

1955

* * *

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он Бог,

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

1958

КОСМОНАВТУ

Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой
Впервые новичкам из пополненья
Давали старт на вылет боевой, —

Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.

И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоею высотой,
Но и в своем фанерном драндулете
За ту же вырывались черту.

За ту черту земного притяженья,
Что ведает солдат перед броском,
За грань того особого мгновенья,
Что жизнь и смерть вмещают целиком.

И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.

Но не затем той памяти кровавой
Я нынче вновь разматываю нить,
Чтоб долею твоей всемирной славы
И тех героев как бы оделить.

Они горды, они своей причастны
Особой славе, принятой в бою,

И той одной, суровой и безгласной,
Не променяли б даже на твою.

Но кровь одна, и вы — родные братья,
И не в долгу у старших младший брат.
Я лишь к тому, что всей своею статью
Ты так похож на тех моих ребят.

И выправкой, и складкой губ, и взглядом,
И этой прядкой на вспотевшем лбу...
Как будто миру — со своею рядом —
Их молодость представил и судьбу.

Так сохранилась ясной и нетленной,
Так отразилась в доблести твоей
И доблесть тех, чей день погас бесценный
Во имя наших и грядущих дней.

1961